

БЕЛИНСКИЙ В БОРЬБЕ С РОМАНТИЧЕСКИМ ИДЕАЛИЗМОМ

Статья Л. Гинзбург

I

Еще со времен Радищева политическое, революционно-просветительское начало русской общественности противостояло началу мистическому, религиозно-философскому (масонская традиция 1780-х годов)¹.

В дальнейшем, в зависимости от соотношения классовых сил, от напряженности политической борьбы, антагонизм двух этих начал то стусhevывался, то выступал со всей отчетливостью.

В эпоху декабризма иррационалистически-идеалистическое направление ощущалось как ненациональное и как антиреволюционное. Именно так декабристская молодежь воспринимала, например, Жуковского.

Идеология любомудров — это переход от декабризма к идеализму 30-х годов, и в ней начала умозрительно-философское и политическое (декабристская традиция, особенно сильная у Веневитинова) находились в сложном и противоречивом взаимодействии, как бы в состоянии взаимного отталкивания. Эта особенность ее определена тем, что любомудры были возвращены декабристской эпохой.

Другое дело 30-е годы. В 30-х годах дворянское революционное движение, потерпевшее непоправимое поражение, приняло кружковые формы. Движение революционных демократов находилось еще в стадии зарождения. Этот промежуточный период в истории русской общестvenности, — быть может, единственный, когда иррационалистический идеализм временно уживался с революционностью.

Политическая реакция и общественная депрессия, порожденные катастрофой 14 декабря, создали предпосылки для развития романтического идеализма 30-х годов. Но русский последекабристский романтизм — в отличие от западного — не был реакцией на революцию (отрицанием революции); он, напротив того, был ответом на гнет подавившего дворянскую революцию разнуздавшегося самовластия. В этом особенность русского романтического идеализма и об этой особенности следует твердо помнить.

Для того, чтобы дворянская интеллигенция стала носительницей охранительных идей, недостаточно оказалось испуга самодержавия перед гвардейскими офицерами, вышедшими на Сенатскую площадь; понадобился еще испуг образованного дворянства перед растущей демократией, как отражение испуга всего помещичьего класса перед углублявшимся движением крестьянского стихийно-революционного протеста против крепостнического рабства. Это случилось уже в 40-х годах, в эпоху обострения классовых противоречий, и нашло свое выражение в доктрине славянофилов. В 30-х же годах для дворянской интеллигенции характерен вынужденный отказ от политической активности, но отнюдь еще не характерно доброхотство в поддержке охранительных начал.

Романтический идеализм 30-х годов также был своего рода протестом (пассивным) против самодержавного, крепостнического, бюрократиче-

ского строя, тогда как славянофильский романтизм 40-х годов становился постепенно активной формой протеста против требований буржуазно-демократических. Русские романтики последекабристской поры отказались от политического действия (многие из них заплатили за это моральной депрессией), но они никогда не давали согласия на режим Николая I.

Равно чуждые казенной идеологии, одни из них мечтали (правда, это были еще туманные мечты) о социальной справедливости и свободе, другие — о «божественной гармонии». Мысль одних была направлена как бы мимо идей революции (но не против этих идей); мысль других непосредственно встретила с непрерывающейся революционной традицией русской общественности.

На протяжении XVIII—XIX вв. русское освободительное движение, отражая все обострявшиеся противоречия основных классовых сил в стране, неоднократно пересматривало свои идейно-политические лозунги и меняло свои организационные формы. Но борьба за осуществление общего, основного и остававшегося неизменным требования освободительного движения — ликвидации крепостничества, — то вспыхивая, то затухая, не прекращалась полностью никогда.

Для 30-х годов характерно подспудное прозябание революционной мысли. Последекабрьская эпоха ознаменована не только правительственным гнетом, но и реакционным поворотом дворянской массы, вынужденной искать опоры в сильной власти. В то же время бытие николаевского дворянства охвачено глубокими противоречиями, которые в низах помещичьего класса питают неосознанное недовольство, а на культурных его верхах — различные виды противоказенной идеологии.

В русском обществе 30-х годов еще существуют остатки старой декабристской интеллигенции. Опустошенная, сломленная, но все еще упорно фрондирующая, она поклоняется своим уцелевшим кумирам — Ермолову, Чаадаеву, Михаилу Орлову. Молодая дворянская интеллигенция романтического толка также враждебна или, по меньшей мере, чужда официальной чиновничьей России. И наконец, на культурное поприще постепенно выходит разночинная молодежь, несущая с собой новые демократические запросы. Ранних представителей русской разночинной интеллигенции мы находим в московских университетских и полууниверситетских кружках — братьев Критских, Сунгурова, в кружке Уткина, Соколовского и др., разгром которого в 1834 г. повлек за собой арест Огарева, Герцена и их друзей. На этой сложной основе возникают разные формы выражения политического недовольства и разные соотношения «политического» начала с «философским».

В наиболее демократических студенческих кружках 30-х годов преобладали, конечно, политические интересы, первоначально, впрочем, без сознательной отчужденности от идеалистической философии. В этой связи не следует забывать, что мир современного естествознания, в который жадно устремлялась молодежь 30-х годов, открывал этой молодежи представитель романтической натурфилософии Павлов.

В кружке Станкевича господствовало философское направление, но, первоначально, без принципиальной враждебности по отношению к идее политического протеста (враждебность эта возникла только в последний гегельянский период кружка), и уж во всяком случае без всякого сочувствия существующему режиму.

Наконец, в кружке Герцена — Огарева мы находим своеобразное равновесие противоречивых идеологических начал (с одной стороны, идеалистическое умозрение, с другой стороны — вопросы социально-политической практики), начал, между которыми скоро, на рубеже 40-х годов, возникнет непримиримая борьба. Но в 30-х годах романтическая философия еще уживалась с мечтами о социальной революции².

Кружок был, несомненно, средоточием политических устремлений. Притом идеологи его (Герцен, Огарев, Сазонов) стояли на такой высоте умственного развития, что им невозможно было обойти вопрос о философском обосновании ценностей. А современность 30-х годов настойчиво подсказывала им обоснование романтически-идеалистическое. Из сочетания романтического идеализма с проблематикой социальной справедливости и политической свободы возник ранний русский утопический социализм — утопический социализм Герцена и Огарева, отнюдь не чуждавшийся (в отличие от западного утопизма) идеи политической борьбы.

Сосуществование революционно-социалистических устремлений с идеализмом оказалось, однако, недолговечным.

В 40-х годах углубление классовых противоречий до крайности заострило борьбу идей. Белинский и Герцен провозглашают сочетание трех элементов — революционности, социализма и реализма, и провозглашают его очень рано — уже в 1842—1843 гг., прежде чем до этого сочетания дошла передовая мысль Западной Европы.

В развитии русского общественного сознания это поворотный момент огромного исторического значения. Начиная с этого момента, русская революционная мысль больше не мирится с идеализмом. Резкое размежевание двух идеологических начал оказалось неизбежным. Недаром славянофилы осознают себя и идеологически складываются в тот самый исторический момент, когда Белинский и Герцен начинают утверждать неразрывную связь между интересом к социальной действительности и реалистическим методом ее рассмотрения.

Славянофилами начинается новый этап русского романтического идеализма. В эпоху обостряющейся классовой борьбы и для них стало ясно, что всякое общественное учение, претендующее на жизнеспособность, не может уже пребывать в области «чистого умозрения», но должно дать ответ на ряд политических и социальных вопросов, выдвигавшихся всем ходом исторического развития страны.

Ответ славянофилов получился охранительный. Они отнюдь не отрицали постулируемую Белинским и Герценом связь между реализмом и революционным решением социально-политических вопросов; они признали эту связь и соответственно осудили оба ее элемента.

Запоздалый романтический идеализм впервые стал реакцией на революцию и оказался на службе у охранительных сил. Для левых славянофилов, привыкших к своей оппозиционной роли, новое положение оказалось неожиданным, нежелательным и практически бесполезным, ибо не избавляло их от полицейских преследований и цензурной травли. Но такова была объективная функция охранителей дворянской культуры против революционного и реалистического начала, сформулированного в начале 40-х годов Герценом и Белинским.

В этом процессе идеологического размежевания романтизм или антиромантизм из факта литературного или философского становится мерилом идейной, моральной и политической позиции.

Славянофилы, с их помещичьим классовым сознанием, задерживаются на позициях романтического идеализма. Попытка младших славянофилов — Конст. Аксакова и особенно Самарина — совместить религиозное сознание с культом научного знания и логической мысли — окончилась, естественно, неудачей. После бесплодной борьбы Самарин подчинился авторитету Хомякова, употреблявшего весь свой громадный дар диалектика и логиста для доказательства иллюзорности рационального познания.

В «Замечательном десятилетии» Анненков писал: «...Герцен и Грановский разошлись по вопросам, возникшим в конце концов на почве той самой западной цивилизации, явлениями которой они так занимались.

Толчок к новому подразделению партии дали уже идеи социализма и связанный с ними переворот в способе относиться к метафизическим представлениям³.

Здесь речь идет о распадении «западнической партии» на либералов и демократов-революционеров и о переходе этих последних на позиции материалистической или тяготеющей к материализму философии. Анненков сам отнюдь не сочувствовал этому кругу идей, но он понимал, что в 40-х годах назрела потребность согласовать социально-политическую программу с философской основой мировоззрения, установить философскую связь между социальной революцией и реализмом.

На путь преодоления романтического идеализма вступают Белинский, Герцен, Огарев, Петрашевский, отчасти Бакунин и Боткин. Бакунину, однако, это преодоление по существу не удалось (к этому мне придется еще вернуться). Огарев свои идейные достижения начала 40-х годов вносит в русское общественное движение несколько позднее. Боткин и на новых антиромантических позициях остался вечным дилетантом, и притом он шел не к революционному материализму, а к буржуазному позитивизму. Борьбе против романтизма за новое миропонимание положили начало Белинский и Герцен.

II

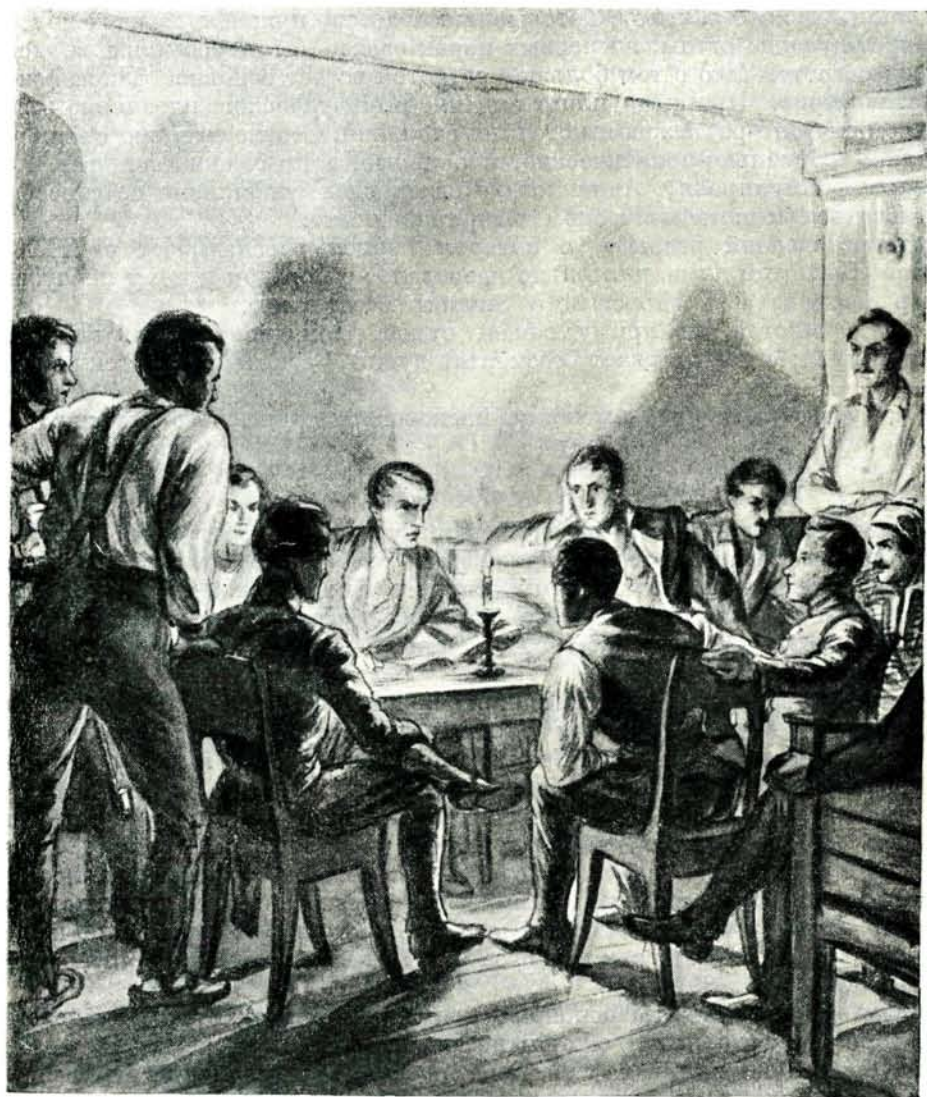
В чем же исторический смысл этой борьбы, со всей ее страстностью и беспощадностью? Другими словами, что такое тот романтизм, против которого на рубеже 40-х годов неутомимо боролась передовая русская мысль?

Это не романтизм Пушкина, ибо Белинский 40-х годов уже решительно выключает Пушкина из романтизма; не романтизм Жуковского, поскольку от типологического понимания романтизма (вечное начало человеческого духа) Белинский в это время приходит уже к историческому и романтизм в прошлом, в частности Жуковского, оценивает положительно. По той же причине речь идет и не о западном романтизме конца XVIII — начала XIX в. и меньше всего — о современном французском романтизме, в котором левые западники ценили реалистические тенденции и социальный пафос.

Романтизм, с которым борются Белинский и Герцен, — это свой романтизм, русский, современный, лично пережитый, и еще до конца не изжитый; это романтический идеализм 30-х годов⁴.

7 ноября 1842 г. Белинский писал Николаю Бакунину: «...С некоторого времени во мне произошел сильный переворот; я давно уже отрешился от романтизма, мистицизма и всех „измов“; но это было только отрицание, и ничто новое не заменяло разрушенного старого, а я не могу жить без верований, жарких и фантастических... Теперь я опять иной. И странно: мы, я и Мишель <М. А. Бакунин>, искали бога по разным путям — и сошлись в одном храме. Я знаю, что он разошелся с Вердером, знаю, что он принадлежит к левой стороне гегелианизма, знаком с R. <очевидно, с А. Руге> и понимает жалкого, заживо умершего романтика Шеллинга... Дорога, на которую он вышел теперь, должна привести его ко всяческому возрождению, ибо только романтизм позволяет человеку прекрасно чувствовать, возвышенно рассуждать и дурно поступать» («Письма», II, 317).

Здесь очевидно, насколько для Белинского понятие романтизма перерастает всяческие литературные отношения. Романтизм противопоставляется не классицизму (только такого рода сопоставления были понятны для русских романтиков и антиромантиков 20-х годов) или «реальному искусству», а, в первую очередь, левому гегельянству и социализму.



БЕЛИНСКИЙ ЧИТАЕТ СВОЮ ДРАМУ «ДМИТРИЙ КАЛИНИН»

Акварель В. А. Милашевского, 1938 г.

Институт мировой литературы им. Горького АН СССР, Москва

Вот почему к началу 40-х годов вопросы политические, социальные, моральные, эстетические, гносеологические тесно сплелись между собой; и каждый из них в отдельности, и все они вместе имели свое романтическое и свое антиромантическое решение.

Но вот что замечательно: расхождения во взглядах на социализм или на политическую тактику, которые впоследствии привели бывших друзей во враждующие станы, на первых порах еще не были осознаны во всей своей остроте. Зато с тем большей остротой встает основное философское противоречие. Принятие или отрицание романтического идеализма — вот на чем вначале размежевываются направления. Соотносительно с этим решались социально-политические, моральные, эстетические вопросы. Напомню формулировку Анненкова о связи идеи социализма со способом «относиться к метафизическим представлениям».

«Теоретический разрыв», о котором Герцен рассказывает в XXXII главе «Былого и дум», длительно назревал, но поводом к нему послужил спор Герцена с Грановским о личном бессмертии.

«...Я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души», — сказал Грановский Герцену и Огареву.

Эта фраза была началом конца московского дружеского кружка.

III

Белинский вел идеологическую борьбу как литературный критик, притом как критик, часто вынужденный разбирать текущую третьестепенную литературу. Вот почему основной философский объект антиромантических выступлений Белинского не всегда прямо назван, но он всегда присутствует и может быть раскрыт в любом, казалось бы, самом частном замечании критика.

Антиромантические высказывания Белинского находятся в тесной связи с той схемой развития русской литературы, — в сущности русской культуры, — которую Белинский строит в 40-х годах и которая и сейчас не утратила свою жизнеспособность.

Русская литература, — утверждает Белинский, — «...постоянно стремилась к самобытности, народности, из риторической стремилась сделаться естественною, натуральною. Это стремление, озаменованное заметными и постоянными успехами, и составляет смысл и душу истории нашей литературы... Ни в одном русском писателе это стремление не достигло такого успеха, как в Гоголе» («Взгляд на русскую литературу 1847 года» — XI, 89).

Здесь сформулирована основная, ведущая мысль зрелого Белинского; мысль о единстве начал самобытности, народности и реализма; мысль о глубоко национальном характере русской «натуральной школы».

Отсюда оценка романтизма, в которую Белинский, освобождаясь (хотя и не до конца) от свойственных эпохе типологических определений, решительно вносит исторический элемент. Русский романтизм Белинский считал явлением наносным, ненациональным, но исторически необходимым в качестве ступени развития русского культурного сознания, и он не отказался от своей высокой оценки Жуковского.

Жуковский «...ввел к нам романтизм, без элементов которого, в наше время, не возможна никакая поэзия. Пушкин, при первом своем появлении, был оглашен романтиком. Поборники новизны называли его так в похвалу, староверы — в порицание; но ни те, ни другие не подозревали в Жуковском представителя истинного романтизма. Причина очевидна: романтизм полагали в форме, а не в содержании. Правда, романтическое содержание не может укладываться в определенные по самому

объему и соразмерные формы древней поэзии... Но не в этом сущность романтизма. Романтизм — это мир внутреннего человека, мир души и сердца, мир ощущений и верований, мир порываний к бесконечному, мир таинственных видений и созерцаний, мир небесных идеалов...» («Русская литература в 1841 году» — VII, 26).

Эти строки написаны в 1842 г., когда процесс преодоления романтизма для Белинского еще не был завершен. Но Белинский и в дальнейшем остается верен основным чертам намеченной здесь концепции. Для него романтизм — это романтический идеализм и спиритуализм, из сферы которого он решительно исключает Пушкина. Этот «средневековый романтизм» имел свое историческое право на существование, но в качестве явления современности он — вредный пережиток. Антиромантический пафос Белинского возрастает по мере того, как в Гоголе и в гоголевском направлении он открывает принцип с о в р е м е н н о г о искусства.

В статьях 40-х годов Белинский протестует именно против романтизма в современности, объединяя в этом понятии явления довольно разнородные, но, в конечном счете, сводимые к нескольким основным и соотносимым между собой моментам.

Для Белинского современные романтики — это, во-первых, славянофилы, сознательно задержавшиеся на позициях философского идеализма 20—30-х годов и развившие это воззрение в сторону церковной догматики и мистического национализма. Во-вторых, это люди его круга, устремившиеся к постижению конкретной действительности и остановившиеся на полдороге (например, Грановский и его друзья). В этой связи Белинский с особенной яростью обрушивается на собственное прошлое и на пережитки романтизма в собственном сознании.

И, наконец, Белинский враждует с мещанским, вульгарным романтизмом, неутомимо разоблачая и его корифеев (Сенковского, Кукольника, Бенедиктова и т. д.) и всю его массовую продукцию, начиная с 30-х годов наводнившую книжный рынок. Об этой продукции Белинский, в качестве профессионального критика, вынужден был писать очень много. Но писал он об этом не только по обязанности. Полемический пафос, острота теоретической мысли, которые Белинский вкладывает нередко в рассмотрение заведомой макулатуры, свидетельствуют о том, что за этой макулатурой стояли для Белинского большие теоретические вопросы, что он видел в вульгарном романтизме искаженное, убогое отражение романтического идеализма и понимал существующую между ними связь.

Статья Белинского «Русская литература в 1845 году» в значительной своей части посвящена вопросу о пережитках романтического сознания.

«Недовольство судьбою, брань на толпу, вечное страдание, почти всегда кропанье стихков и идеальное обожание неземной девы — вот родовые признаки... „романтиков“ жизни. Первый разряд их состоит больше из людей чувствующих, нежели умствующих. Их призвание — страдать, и они горды своим призванием... Для чего все это? — Для того, что толпа любит есть, пить, веселиться, смеяться, а они во что бы то ни стало хотят быть выше толпы. Им приятно уверять себя, что в них клокочут неистовые страсти, что их юная грудь разбита несчастием... и на долю им осталось одно горькое разочарование... Они предпочитают любовь непонятую, неразделенную любви счастливой, и желают встречи или с жестокою девою, или с изменницей... Разлад с действительностью — болезнь этих людей» (X, 99). Построенный здесь образ — это детище вульгарного романтизма, лирический герой Бенедиктова. Но в то же время это сатирически обобщенное отражение романтического идеалиста 30-х годов, с его культом «избранной личности» и «великой любви».

ния, заслуживает презрение. Всякая поэзия, которой корни не в современной действительности, всякая поэзия, которая не бросает света на действительность, объясняя ее, — есть дело от безделья, невинное, но пустое препровождение времени, игра в куклы и бирюльки, занятие пустых людей...» (IX, 353).

Характерно, что присяжных поэтов славянофильского круга 40-х годов — Языкова и Хомякова — Белинский склонен рассматривать в одном ряду с представителями вульгарного романтизма, отнюдь не славянофилами, — Марлинским, Кукольниковым, Бенедиктовым, Тимофеевым и т. д., относя и тех и других к риторической традиции русской литературы, выделяя в них родственные черты, присущие всей «ложно-величавой школе».

В статье «Русская литература в 1844 году» Белинский подробно разбирает только что вышедшие сборники Языкова и Хомякова. Оба они рассматриваются как поэты определенной идеологической группировки. В поэзии Языкова Белинский вскрывает риторику ложной народности и стилизованного удалства; в поэзии Хомякова — уже прямо славянофильскую общественно-политическую риторику, принципиально не отличающуюся от риторики Марлинского или Бенедиктова⁶.

У обеих «риторик» — единый источник: дуалистический разрыв с действительностью, приводящий к примирению с самыми гнусными ее сторонами, к реакционности.

IV

Последнее слово Белинского о романтическом идеализме сказано во второй части «Взгляда на русскую литературу 1847 года». Проблема романтизма поставлена знаменитой сравнительной характеристикой романов Герцена и Гончарова; точнее — характеристикой двух персонажей: Бельтова и Александра Адуева. Бельтов — романтик-интеллигент, тип, уловленный Герценом в кругу идеалистов 30-х годов и столь хорошо знакомый Белинскому. Адуев — это романтический тип, с высот спустившийся в провинциальную дворянско-мещанскую толпу. Замысел Гончарова был, разумеется, шире. Он хотел нанести удар вообще современному романтизму, но не сумел определить идеологический центр. Вместо романтизма он осмелел провинциальные потуги на романтизм.

В статье «Русская литература в 1851 году» Ап. Григорьев очень верно писал: «Стремление к идеалу не признает своего питомца в Александре Адуеве, и ирония пропала здесь задаром»⁷.

Адуев — уже не идеолог, но, так сказать, эмпирический, бытовой романтик, «чувствующий, а не умствующий» — по классификации Белинского. Явление, с точки зрения Белинского, не менее вредное и опасное, потому что для Белинского 40-х годов, как и для Герцена, корень пережиточного романтизма — мечтательная бездейственность, губительный отказ от активного отношения к жизни («мечтательная бездейственность» роднит между собой столь непохожих Бельтова и Адуева).

«Скажем несколько слов об этой не новой, но все еще интересной породе, к которой принадлежит этот романтический зверок...» — пишет Белинский. Вслед за тем следует подробная характеристика бытовых романтиков, перечисление всего того, что «они называют жить вышею жизнью, не доступною для презренной толпы, парить горé, тогда как презренная толпа пресмыкается долу».

Эта характеристика явно повернута против «ложно-величавого» человека, человека вульгарного романтизма. Но в ней есть и скрытая полемическая направленность. В Александре Адуеве Белинский одновременно клеймит и бенедиктовщину и нечто для него гораздо более важ-

ное — культуру романтического идеализма, через которую он прошел сам и которую решительно преодолел.

«Они долго бывают помешаны на трех заветных идеях: это — слава, дружба и любовь. Все остальное для них не существует; это, по их мнению, достойные презренной толпы».

Слава, дружба, любовь — этими идеями в высшей степени злоупотребляла «ложно-величая школа» и все те адуевы, провинциальные и столичные, которых она вскормила. Но дело не только в них. Вспомним переписку участников кружка Станкевича, переписку Герцена, Огарева. Слава, дружба, любовь, конфликт между личностью и толпой — это решающие темы для духовной жизни интеллигентов 30-х годов. Конечно, для Герцена, Огарева и их окружения идея с л а в ы неотделима от политического действия. Сюда же примыкает и идея дружбы (клятва на Воробьевых горах). Даже романтическое презрение к «толпе» переосмыслиется политически. «Толпа» — это, разумеется, не народ; это торжествующая и косная сила, носительница социального зла, несправедливости и насилия. Революционный романтизм преобразовал традиционные идеалистические мотивы. Но в своей борьбе с пережитками романтического идеализма Белинский, понятно, устремляет внимание не на то, что отделяло русские романтические кружки 30-х годов от общеромантической традиции, но на то, что объединяло их с общеромантическим культом «славы, дружбы, любви».

Белинский переходит к характеристике романтической дружбы, и образ романтика раздваивается в его анализе: уездный недоросль Адуев уступает место «идеалисту 30-х годов». «Они дружатся по программе, заранее составленной, где с точностью определены сущность, права и обязанности дружбы: они только не заключают контрактов со своими друзьями. Им дружба нужна, чтоб удивить мир и показать ему, как великие натуры в дружбе отличаются от обыкновенных людей, от толпы. Их тянет к дружбе... потребность иметь при себе человека, которому бы они беспрестанно могли говорить о драгоценной своей особе. Выражаясь их высоким слогом, для них друг есть драгоценный сосуд для излияния самых святых и заветных чувств, мыслей, надежд, мечтаний и т. д.; тогда как в самом-то деле в их глазах друг есть лохань, куда они выливают помой своего самолюбия. Зато они и не знают дружбы, потому что друзья их скоро оказываются неблагодарными, вероломными, извергами, и они еще сильнее злобствуют на людей, которые не умели и не хотели понять и оценить их...»

Все это сказано по поводу Александра Адуева, но очевидно, что не только об Александре Адуеве здесь речь: эти строки имеют еще других скрытых адресатов: в них как-то преломились воспоминания о дружбе, которая процветала в идеалистических кружках 30-х годов и через все соблазны и мытарства которой прошел сам Белинский. Скорее всего Белинский писал эти строки, вспоминая мучительную и сложную эпопею своей дружбы с Михаилом Бакуниным.

Необыкновенная история этих отношений разворачивается перед нами в ряде писем 1837—1840 гг. Среди них особое место занимает огромное письмо к Бакунину, датое 12 октября 1838 г. В нем Белинский, перед окончательным разрывом, подводит итоги своей дружбе с Бакуниным и до мельчайших извивов прослеживает ее катастрофическое течение: «...твое прекраснородушие, страсть к авторитету и прозелитизму, словом, все твои пошлые стороны, не исключая и чудовищного самолюбия, в моих глазах имеют один источник с твоими человеческими сторонами... С обеих сторон — отчаянная субъективность, и много диссонансов производила враждебная противоположность наших субъективностей. Сила, дикая мощь, беспокойное, тревожное и глубокое движение духа, бес-

Демонъ.

Часть 1.

1.
Печальный Демонъ, Душа чуждая
Летитъ надъ египетскою долиной,
И кружится надъ восточными
Предъ нимъ тѣньми тѣньми тѣньми, —
Тѣнь Дней, когда въ минувшемъ
Блестѣлъ онъ, вострый, дерзкий;
Когда вступалъ конитъ
Умѣлъ, смѣлый, привѣтъ!
Любима помнилъся въ мнѣ;
Когда скаръ вѣдѣлъ турчанка,
Турчанка младая, онъ сидѣлъ
Вокругъ курчавы
Въ прелестномъ башмакѣ восточномъ,
Когда онъ вралъ и мѣдилъ,
Счастливый персидскій турчанка,
Не зналъ ни страха, ни сожалѣнья,

ДЕМОНЪ

ПОЭМА ЛЕРМОНТОВА

М. О.

СПИСОК ПОЭМЫ ЛЕРМОНТОВА «ДЕМОНЪ», СОБСТВЕННОРУЧНО СДЕЛАННЫМЪ БЕЛИНСКИМЪ ДЛЯ СВОЕЙ НЕВЕСТЫ, М. В. ОРТОВОЙ, 1842 Г.

Переплет и первая страница списка

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

престанное стремление в даль, без удовлетворения настоящим моментом, даже ненависть и к настоящему моменту, и к себе самому в настоящем моменте, порывание к общему от частных явлений, — вот твоя характеристика...» («Письма», I, 303). Характеристика, чрезвычайно близкая к тому образу человека «романтической породы», который через девять лет Белинский построят с помощью гончаровского Адуева; человека, составленного из эгоизма, самолюбия, деспотизма и бесплодной мечтательности⁸. Разница в том, что в 1838 г. Белинский воспринимал еще этот характер (несмотря на его «пошлые и грязные стороны») как высокий и титанический; в 1847 г. он преследует тот же характер в его упрощенном обывательском варианте. В первом случае психологическая взвинченность оправдывалась работой мысли, подлинностью душевных страданий. Во втором случае перед нами лишь пустая оболочка, уродливый образец формы без содержания.

Осенью 1839 г. в письме к Станкевичу Белинский подробно рассказывает сложнейшую историю своих отношений с Бакуниным, Боткиным, Ключниковым, Катковым («Письма», I, 337—377). Это огромное письмо — обличительный документ безобразных крайностей романтического индивидуализма, и невозможно не вспомнить его, читая в статье 1848 г. о людях, для которых «друг есть лохань, куда они выливают помой своего самолюбия». Этой же теме посвящено письмо 1840 г. к самому Бакунину, как бы подводившее итоги эмоциональной жизни дружеского кружка; и это письмо очень похоже на характеристику романтической дружбы в статье 1848-го года: «Основа нашей связи была духовная родственность — правда; но не вмешивалось ли сюда и обмена безделья, лени, похвал, т. е. взаимопохваления, и т. п.? По крайней мере, я очень хорошо помню, что с тобою мы разъехались с того самого времени, как начали стряхивать с себя твой гнетущий авторитет и осмелились, в свою очередь, и говорить тебе правду, и учить тебя... Я от души рад, что нет уже этого кружка, в котором много было прекрасного, но мало прочного; в котором несколько человек взаимно делали счастье друг друга и взаимно мучили друг друга... Вот и я с Боткиным переругался и теперь благодарю судьбу за эту жестокую ссору. До нее я на Боткина смотрел, как на абстрактное совершенство, но она показала мне, что и он человек, и в нем много дурного. Я на это рассердился, как будто владел монополией иметь много дурного. Я ощутил к Боткину жесточайшую ненависть, какой ни к кому не питал, к какой даже и не подозревал себя быть способным... Мы наделали друг другу пакостей — это была дань духу нашего кружка; пакостнейшая из этих пакостей была та, что в тайны семейной ссоры мы посвящали чужих людей. Но что ж? Все это послужило только к тому, чтобы доказать нам, что мы не просто приятели, а нечто побольше, и что связь наша только более скрепилась от того, от чего все связи разрываются» («Письма», II, 84).

К моменту отъезда Бакунина за границу его отношения с Белинским были окончательно испорчены. Приведенный выше (см. стр. 188) отрывок из письма к Николаю Бакунину свидетельствует о том, что Белинский заочно примирился с «Мишелем», узнав о его сближении с левыми гегельянцами. Впрочем, переписка между ними не возобновлялась. Личная встреча произошла в августе — сентябре 1847 г. в Париже. Эта встреча, очевидно, произвела на Белинского тягостное впечатление. Он убедился, что с Бакуниным ему не по пути. Для Белинского Бакунин, несмотря на новую социально-политическую программу, попрежнему романтик-иррационалист, человек, страдающий «разрывом с действительностью». В письмах к Анненкову и к Боткину конца 1847 г. Белинский неоднократно возвращается к Бакунину, насмешливо называя его «мой верующий друг».

В письме к Анненкову (декабрь 1847 г.) Белинский объяснил, что именно он понимает под верой «верующего друга». «Я эту веру определяю так: вера есть побрякушка праздным фантазиям или способность все видеть не так, как оно есть на деле, а как нам хочется и нужно, чтобы оно было. Страшная глупость эта вера! Вещь, конечно, невинная, но тем более пошлая» («Письма», III, 320).

В письме к Боткину, написанном примерно в то же время, Белинский рассказывает о спорах, разгоревшихся в Париже вокруг герценовских «Писем из Avenue Marigny»: «Вот, с точки зрения этой неопределенности и сбивчивости в слове буржуази, письма Герцена *sont attaquables*. Это ему тогда же заметил Сазонов, сторону которого принял Анненков против Мишеля (этого немца, который родился мистиком, идеалистом, романтиком, и умрет им, ибо отказаться от философии еще не значит переменить свою натуру), и Герцен согласился с ними против него» («Письма», III, 328).

Наконец, в последнем своем письме к Анненкову Белинский зачисляет Бакунина вместе со славянофилами в категорию «мистиков, пиетистов и фантазеров» («Письма», III, 339)⁹.

Белинский с большой чуткостью уловил в Бакуanine своеобразное сочетание революционности, готовности к политическому действию с квиетизмом (для Герцена квиетизм — характернейшая черта славянофилов), с каким-то мистическим фатализмом; сочетания эти роковым образом сказались и на дальнейшей деятельности Бакунина.

Письмо к Анненкову, в котором Белинский называет Бакунина «мистиком» и «пиетистом», написано 15 февраля 1848 г. Примерно в это самое время писалась вторая часть «Взгляда на русскую литературу 1847 года» (цензурное разрешение номера «Современника» с этой статьей дано 30 марта).

Парижская встреча с Бакуниным обновила в Белинском пафос борьбы с пережитками романтического идеализма 30-х годов. Борьбу эту он, впрочем, не прерывал с того самого момента, как на рубеже 40-х годов начал ее вести против себя самого.

Личный, автобиографический подтекст ощущается и тогда, когда от характеристики романтической дружбы Белинский в своей статье переходит к характеристике романтической любви.

«Прежде всего разделяют любовь на материальную или чувственную, и платоническую или идеальную, презируют первую и восторгаются второю. Действительно, есть люди столь грубые, что могут предаваться только животным наслаждениям любви, не хлопоча даже о красоте и молодости; но даже и эта любовь, как ни груба она, все же лучше платонической, потому что естественнее ее: последняя хороша только для хранителей восточных гаремов... Человек — не зверь и не ангел; он должен любить не животное и не платонически, а человечески... Всякая любовь истинна и прекрасна по-своему, лишь бы только она была в сердце, а не в голове. Но романтики особенно падки к головной любви. Сперва они сочиняют программу любви, потом ищут достойной себя женщины, а за неимением таковой любят пока какую-нибудь... Им любовь нужна не для счастья, не для наслаждения, а для оправдания на деле своей высокой теории любви... Главная их забота являться в любви великими, и ни в чем не унижаться до сходства с обыкновенными людьми».

Далее — непосредственный переход к взаимоотношениям молодого Адуева и Наденьки; и опять возникает впечатление, что для Белинского гончаровский Адуев — только точка приложения мучительно изжитого опыта — и личного и, в особенности, группового.

Любовная переписка идеалистов 30-х годов проникнута дуалистически-романтическим пониманием любви (любовь небесная и любовь земная).

Ограничусь здесь отрывком из письма Герцена 1836 г., потому что знаменитая переписка Герцена с невестой является предельным, наиболее полным выражением романтических устремлений русской молодежи 30-х годов: «Да, я уверен в этом, я знаю твою душу, она выше земной любви, а любовь небесная, святая не требует никаких условий внешних. Знаешь ли ты, что я доселе не могу думать, не отвернувшись, от мысли о браке? Ты моя жена! Что за унижение: моя святая, мой идеал, моя небесная, существо, слитое со мною симпатией неба, этот ангел — моя жена! Да, в этих словах насмешка. Ты будто для меня женщина, будто моя любовь, твоя любовь имеет какую-нибудь земную цель!»¹⁰.

Герцен, разумеется, до конца не выдерживает эту спиритуалистическую концепцию любви. В письмах 1838 г. речь уже идет и об «африканской крови» и о «земном огне» страсти и проч. Но принцип различения любви земной и небесной остается в силе¹¹.

Любовь платоническая и титаническая, головная и программная становится предметом вражды Белинского в 1840—1841 гг., в эпоху, когда он, приобщаясь к действительности, разделялся и с прежней «прекраснодушной» теорией любви и с воплотившим эту теорию чувством к Александре Александровне Бакуниной.

В письмах Белинского 1838 г. идеал платонической любви еще незыблем! «Нет, никакую женщину в мире не страшно любить, кроме ее <А. А. Бакуниной. — Л. Г. >. Всякая женщина, как бы ни была она высока, есть женщина: в ней и небеса, и земля, и ад, а это — чистый, светлый херувим бога живого; это небо, далекое, глубокое, беспредельное небо, без малейшего облачка, одна лазурь, осиянная солнцем!» («Письма», I, 190).

То же в более позднем письме: «Да — есть, есть упоение, вместе горькое и сладкое, грустное и радостное, есть безграничный Wollust узнать, что, не имея значения любимого человека, мы тем больше против прежнего имеем значение просто человека. Такое к нам отношение трепетно, свято боготворимого нами предмета особенно важно для нас и для того, чтобы, пережив эпоху испытания, успокоивши и уравнивши порывы мучительной страсти, мы могли бы, как магоматанин к Мекке, обращать на этот боготворимый предмет взоры нашего духа с грустным, но сладостным чувством, и в святилище своего духа носить его образ светлый, без потемнения, всегда достойным обожания, во всем лучезарном, поэтическом блеске его святого значения...»

Вскоре эту платоническую любовь Белинский определит как любовь «головную» и «программную». В феврале 1840 г. он пишет Боткину: «...Когда я наклепал на себя чувство к Александре Александровне — для меня не было жесточайшей обиды со стороны Мишеля и твоей, как сомнения в действительности моего чувства» («Письма», II, 63).

«Недействительную», фантастическую любовь Белинский отнюдь не считает порождением своей личной психики. Для него это явление типовое, характерное для всего круга идеалистов-романтиков. В 1841 г. Белинский следующим образом анализирует отношения Боткина с той же А. А. Бакуниной: «По моему мнению, вы оба не любите друг друга; но в вас лежит (или лежала) сильная возможность полюбить друг друга. Тебя сгубило то же, что и ее — фантазм. В этом отношении вся разница между вами — ты мужчина, а она девушка. Ты имел о любви самые экзотические и мистические понятия. Это лежало в самой твоей натуре, по преимуществу религиозно-созерцательной; Марбах и Беттина (от которых ты с ума сходил) развили это направление до чудовищности» («Письма», II, 222).

В этом письме Белинский еще называет идеальную любовь «самым роскошным цветом жизни», но признает, что она возможна и действительна

только «как момент, как вспышка, как утро, как весна жизни». Но чем дальше, тем суровее расправляется Белинский, во имя действительности, с мечтательным направлением, тем самым и с мечтательной любовью, расплывающейся «в пустоте мистических призраков и аксаковского идеализма» (Письмо к В. П. Боткину от 10 декабря 1840 г. — «Письма», II, 180—181). Без сомнения, в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» звучат отголоски пережитого опыта.

Гончаровский Адуев раздвоился: в него одновременно вмещается и бытовой вульгарный романтизм 30-х годов и «высокий» идеализм кружка Станкевича. Но это еще не все. Заканчивая характеристику Адуева, Белинский возражает против превращения героя в преуспевающего чиновника, усматривает в этом художественную ошибку Гончарова. За этим следует неожиданный поворот: «...Лучше и естественнее было ему



ПЕТЕРБУРГ. ВИД НЕВЫ У АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

Литография И. Перро, 1840-е гг.

«...7 ноября я буду уже на новой квартире: на Васильевском острове, во второй линии, против Академии Художеств...» (из письма Белинского к В. П. Боткину от 31 октября 1840 г.)

Исторический музей, Москва

сделать его мистиком, фанатиком, сектантом; но всего лучше и естественнее было бы ему сделать его, например, славянофилом. Тут Адуев остался бы верным своей натуре, продолжал бы старую свою жизнь, и между тем думал бы, что он и бог знает как ушел вперед, тогда как в сущности он только бы перенес старые знамена своих мечтаний на новую почву. Прежде он мечтал о славе, о дружбе, о любви, а тут стал бы мечтать о народах и племенах, о том, что на долю славян досталась любовь, а на долю тевтонов — вражда... Тогда бы герой был вполне с о в р е м е н н ы м <разрядка моя. — Л. Г.> романтиком, и никому бы не вошло в голову, что люди такого закала теперь уже не существуют...» (XI, 135).

Здесь уже Белинский нисколько не скрывает, что речь идет вовсе не об Александре Адуеве, который в роли преуспевающего чиновника все же гораздо уместнее, нежели в роли «фанатика и сектанта». Гончаровский Адуев — оружие, которым Белинский сражается с романтическим идеализмом, притом с несколькими его разновидностями.

В марте 1847 г. Белинский писал Боткину по поводу «Обыкновенной истории» Гончарова: «А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!» («Письма», III, 199). Но самые страшные удары нанес, конечно, не Гончаров, а Белинский. Во всяком случае, его удары поражали объекты, расположенные далеко за пределами той провинциальной сферы, которой удовольствовался Гончаров.

Последняя статья Белинского целит не только в вульгарный романтизм, не только в идеализм 30-х годов, но еще и в славянофильство, в 40-х годах упорствующее на своих идеалистических позициях. Славянофильство (современный романтизм) — третья ипостась Адуева.

Все три воплощения тесно связаны между собой, потому что все три порождены «разрывом с действительностью». Романтизму в прошлом, романтизму на своем месте Белинский обычно отдает должное даже в полемическом пылу. Романтический идеализм 30-х годов — для Белинского последний исторически закономерный этап романтизма, лично пережитый и подлежащий искоренению в себе и в других. Далее следует ненавистное славянофильство — современный романтизм. Этот момент современности Белинский часто и всегда враждебно подчеркивает, говоря о славянофильском романтизме. Славянофильский романтизм — это романтизм исторически незаконный, запоздалый, но злостно настаивающий на своей якобы своевременности.

Из всего этого, в сущности, только вульгарный романтизм соответствует социальной природе гончаровского героя. Если Белинскому удалось вложить в этот образ столь многообразное содержание, то именно потому, что вульгарный романтизм, по сути своей, — эклектичен. Это упрощенное, механическое отражение разных явлений — байронизма, академического идеализма, славянофильства, преломившихся в сознании реакционного мещанства николаевской поры.

Вторая часть статьи «Взгляд на русскую литературу 1847 года» появилась в апреле 1848 г. 26 мая 1848 г. Белинский умер. Эта статья — последнее слово, сказанное Белинским о романтическом идеализме, итог долгой и трудной борьбы за новое понимание жизни.

Белинский боролся с романтическим идеализмом одновременно в сферах — философской, эстетической, политической, моральной. И в любой сфере для Белинского основное зло современного романтизма — это «разлад с действительностью», «мечтательная бездейственность».

«Разлад с действительностью» превращает искусство в *р и т о р и к у*. И такое искусство, вместо истинного познания вещей («натуральная школа»), дает их иллюзорное искажение.

Теоретический «разлад с действительностью» ведет к политической реакции. Романтический идеализм постепенно утрачивает присущий ему элемент пассивного, и потому с самого начала недостаточного, протеста, и, наконец, учением славянофилов становится на страже устоев помещичьего государства. Или же этот протест расплывается в призрачности социальных фантазий и утопий.

В своей полемике Белинский вплотную подошел к проблеме соотношения теории и практики, поставленной также Герценом в его статьях «Дилетантизм в науке», и с особой отчетливостью в последней статье этого цикла — «Буддизм в науке». Идея *д е я н и я*, «о д е й с т в о т в о р е н и я» увенчивает всю систему герценовского реализма. С отказом от идеалистического спиритуализма, от трансцендентности все жизненные ценности, все теоретические критерии переносятся в пределы объективной действительности, доступной чувствам и разуму. Эта действительность — единственное и высшее достояние человека. Отсюда необходимость активного к ней отношения, необходимость работы над этой действитель-

ностью, с тем, чтобы из источника социальных страданий превратить ее в источник неисчерпаемых благ.

«„Деяние есть живое единство теории и практики“, сказал слишком за две тысячи лет величайший мыслитель древнего мира <Аристотель>. В деянии разум и сердце поглотились одействованием, исполнили в мире событий находившееся в возможности... В разумном, нравственно-свободном и страстно-энергическом деянии человек достигает действительности своей личности и увековечивает себя в мире событий. В таком деянии человек вечен во временности, бесконечен в конечности, представитель рода и самого себя, живой и сознательный орган своей эпохи» («Буддизм в науке») ¹².

За пределами деяния остаются л ю д и б е з д е й с т в и я — запоздалые романтики и оторванные от жизни «буддисты». Жизнеспособная же современная мысль, переходя в своем развитии пределы логической отвлеченности, одействуется л ю б о в ь ю, которую Герцен, в сущности, отождествляет с т в о р ч е с т в о м.

«Мы реалисты, нам надобно, чтоб любовь становилась действием» ¹³. И, разумеется, социальным действием. Всякое деяние социально, потому что во всяком деянии личность необходимо отдает себя внеположному ей объективному миру.

Герцен, противопоставляющий д е я н и е «буддизму», одушевлен той же реалистической мыслью единства теории и практики, что и Белинский, ополчившийся против «разлада с действительностью». Герценовский «дилетант-романтик» очень близок к человеку «романтической породы» Белинского. Это, в сущности, один и тот же персонаж — спиритуалист и человек бездействия, для которого от теории к практике нет перехода.

Все это еще раз свидетельствует о глубоком единстве идейного развития Белинского и Герцена 40-х годов. Мысли Белинского и мысли Герцена именно в своей соотнесенности, в своем взаимодействии приобретают окончательную ясность и всеобъемлющую полноту.

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ Впрочем, масоны новиковской группы отнюдь не чуждались политики и просветительства.

² В «Черках гоголевского периода» Чернышевский сформулировал соотношение между кружком Станкевича и кружком Герцена—Огарева: «Много было пунктов, в которых два эти направления могли сталкиваться враждебно; но под видимою противоположностью таилось существенное тождество стремлений, несогласных между собою только в том, что было у каждого из них односторонностью, недостатком, но одинаково ставивших себе целью деятельность, плодотворную для развития русского общества, одинаково считавших единственным средством для достижения этой цели оживление нашей литературы и возбуждение нашей мыслительной деятельности, одинаково имевших свой идеал в будущем, а не в прошедшем, относившихся между собою, как теория и практика, которые должны служить взаимным дополнением» (Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. Т. II, П., 1918, стр. 195).

³ П. А н н е н к о в. Литературные воспоминания. Л., 1928.— Разрядка моя.— Л. Г.

⁴ Отношению Белинского к романтизму посвящена гл. III в книге: П. И. Л е б е д е в - П о л я н с к и й. В. Г. Белинский. Литературно-критическая деятельность. М.— Л., 1945.

Вопрос о борьбе Белинского с романтизмом, как с типом сознания, поставлен в кн.: А. Л а в р е ц к и й. Белинский, Чернышевский, Добролюбов в борьбе за реализм. М., 1941, стр. 58 и др.

⁵ Об этом подробнее в моих работах: «Пушкин и Бенедиктов». — «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии АН СССР». № 2. М.—Л., 1936, стр. 148—182; «Бенедиктов» — в кн.: В. Г. Б е н е д и к т о в. Стихотворения. Л., Библиотека поэта, 1939, стр. V—XXXVIII.

⁶ Приведа славянофильское стихотворение Хомякова «К иностранке», Белинский замечает: «Не будем говорить о том, что в этом стихотворении нет ни одного поэтического выражения, ни одного поэтического оборота, которые встречаются даже в сти-

хотворениях г. Бенедиктова, риторизм которых не чужд какой-то поэтической струйки...» (IX, 114).

В статье 1842 г. «Стихотворения Владимира Бенедиктова» Белинский был снисходительнее к Хомякову и соглашался поставить его на одну доску с Бенедиктовым: «...Должно заметить, что поэты, подобные Марлинскому и г. г. Бенедиктову, Хомякову, очень полезны для эстетического развития общества. Эстетическое чувство развивается чрез сравнение и требует образцов даже уклонения искусства от настоящего пути, образцов ложного вкуса и, разумеется, образцов отличных» (VII, 499—500).

⁷ Ап. Григорьев. Полн. собр. соч. и писем. Под ред. В. Спирidonова. Т. I. П., 1918, стр. 127.

⁸ «...Сердце их, беспрестанно насилуемое в его инстинктах и стремлениях их волею, под управлением фантазии, скоро скудеет любовью, и они делаются ужасными эгоистами и деспотами, сами того не замечая, а напротив того, будучи добросовестно убеждены, что они самые любящие и самоотверженные люди».

⁹ Замечательно, что характеристика Белинского соответствовала внутреннему самоопределению Бакунина той эпохи. В декабре 1847 г. Бакунин писал Анненкову: «Вся жизнь моя определялась до сих пор почти невольными изгибами, независимо от моих собственных предположений; куда она меня поведет — бог знает! Чувствую только, что возвратиться назад я не могу и что никогда не изменю своим убеждениям. В этом вся моя сила и все мое достоинство; в этом также вся действительность и вся истина моей жизни; в этом моя вера и мой долг, а до остального мне дела нет; будет, как будет».

...Во всем этом много мистицизма — скажете вы, — да кто же не мистик? Может ли быть капля жизни без мистицизма? Жизнь только там, где есть строгий, безграничный и потому и несколько неопределенный мистический горизонт; право, мы все почти ничего не знаем, живем в живой сфере, окруженные чудесами, силами жизни, и каждый шаг наш может их вызвать наружу без нашего ведома и часто даже независимо от нашей воли» («П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 621—622).

¹⁰ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. Т. I. П., 1915, стр. 327.

¹¹ Иногда в письмах Герцена к невесте мотив великой любви переплетается с мотивом славы (который Белинский также упоминает в числе необходимых атрибутов романтического воззрения):

«Один элемент моей души требует поэзии, гармония, т. е. тебя и больше ничего не требует, и голос его сладок, чист, и душа становится вдвое лучше, когда один этот голос раздастся в ней, и ему хотел бы я отдать победу, пусть бы он царил... Но рядом с этим голосом — другой, от которого... не могу отделаться, и который силен; это — голос, сходный с звуком труб и литавр; в нем одна поэзия славы, как в том одна поэзия любви; он требует власти, силы, обширный круг действия... малейший успех, это проклятое чувство «я оценен» будит его, опять раздаются литавры и пламенная фантазия чертит вдали воздушные замки» (А. И. Герцен. Назв. соч. Т. I, стр. 454—455).

¹² А. И. Герцен. Назв. соч. Т. III, стр. 218.

¹³ Там же, стр. 168.